

Другие берега

Автор:

Владимир Набоков

Другие берега

Владимир Владимирович Набоков

Свою жизнь Владимир Набоков расскажет трижды: по-английски, по-русски и снова по-английски.

Впервые англоязычные набоковские воспоминания «Conclusive Evidence» («Убедительное доказательство») вышли в 1951 г. в США. Через три года появился вольный авторский перевод на русский – «Другие берега». Непростой роман, охвативший период длиной в 40 лет, с самого начала XX века, мемуары и при этом мифологизация биографии... С появлением «Других берегов» Набоков решил переработать и первоначальный, английский, вариант. Так возник текст в новой редакции под названием «Speak Memory» («Говори, память», 1966 г.).

Три набоковских версии собственной жизни – и попытка автобиографии, и дерзновение «пересочинить» ее...

«...Владимир Набоков самый большой писатель своего поколения, литературный и психологический феномен. Что-то новое, блистательное и страшное вошло с ним в русскую литературу и в ней останется» (З.А.Шаховская (1906–2001), писатель, переводчик, критик, автор мемуаров).

Владимир Набоков

Другие берега

Предисловие к русскому изданию

Предлагаемая читателю автобиография обнимает период почти в сорок лет – с первых годов века по май 1940 года, когда автор переселился из Европы в Соединенные Штаты. Ее цель – описать прошлое с предельной точностью и отыскать в нем полнзначные очертания, а именно: развитие и повторение тайных тем в явной судьбе. Я попытался дать Мнемозине не только волю, но и закон.

Основой и отчасти подлинником этой книги послужило ее американское издание, «Conclusive Evidence»[1 - «Убедительное доказательство» (англ.)]. Совершенно владея с младенчества и английским и французским, я перешел бы для нужд сочинительства с русского на иностранный язык без труда, будь я, скажем, Джозеф Конрад, который, до того как начал писать по-английски, никакого следа в родной (польской) литературе не оставил, а на избранном языке (английском) искусно пользовался готовыми формулами. Когда, в 1940 году, я решил перейти на английский язык, беда моя заключалась в том, что перед тем, в течение пятнадцати с лишком лет, я писал по-русски и за эти годы наложил собственный отпечаток на свое орудие, на своего посредника. Переходя на другой язык, я отказывался таким образом не от языка Аввакума, Пушкина, Толстого – или Иванова, няни, русской публицистики – словом, не от общего языка, а от индивидуального, кровного наречия. Долголетняя привычка выражаться по-своему не позволяла довольствоваться на новоизбранном языке трафаретами, – и чудовищные трудности предстоявшего перевоплощения, и ужас расставанья с живым, ручным существом ввергли меня сначала в состояние, о котором нет надобности распространяться; скажу только, что ни один стоящий на определенном уровне писатель его не испытывал до меня.

Я вижу невыносимые недостатки в таких моих английских сочинениях, как, например, «The Real Life of Sebastian Knight»[2 - «Истинная жизнь Себастьяна Найта» (англ.)]; есть кое-что удовлетворяющее меня в «Bend Sinister»[3 - «Под знаком незаконнорожденных» (англ.)] и некоторых отдельных рассказах, печатавшихся время от времени в журнале «The New Yorker». Книга «Conclusive Evidence» писалась долго (1946–1950), с особенно мучительным трудом, ибо память была настроена на один лад – музыкально недоговоренный русский, – а навязывался ей другой лад, английский и обстоятельный. В получившейся книге некоторые мелкие части механизма были сомнительной прочности, но мне казалось, что целое работает довольно исправно – покуда я не взялся за

безумное дело перевода «Conclusive Evidence» на прежний, основной мой язык. Недостатки объявились такие, так отвратительно тарасилась иная фраза, так много было и пробелов и лишних пояснений, что точный перевод на русский язык был бы карикатурой Мнемозины. Удержав общий узор, я изменил и дополнил многое. Предлагаемая русская книга относится к английскому тексту, как прописные буквы к курсиву, или как относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо: «Позвольте представиться, – сказал попутчик мой без улыбки, – моя фамилия N.». Мы разговорились. Незаметно пролетела дорожная ночь. «Так-то, сударь», – закончил он со вздохом. За окном вагона уже дымился ненастный день, мелькали печальные перелески, белело небо над каким-то пригородом, там и сям еще горели, или уже зажглись, окна в отдаленных домах...

Вот звон путеводной ноты.

Другие берега

Посвящаю моей жене

Глава первая

1

Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь – только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час. Я знавал, впрочем, чувствительного юношу, страдавшего хронофобией и в отношении к безграничному прошлому. С томлением, прямо паническим,

просматривая домашнего производства фильм, снятый за месяц до его рождения, он видел совершенно знакомый мир, ту же обстановку, тех же людей, но сознавал, что его-то в этом мире нет вовсе, что никто его отсутствия не замечает и по нем не горюет. Особенно навязчив и страшен был вид только что купленной детской коляски, стоявшей на крыльце с самодовольной косностью гроба; коляска была пуста, как будто «при обращении времени в мнимую величину минувшего», как удачно выразился мой молодой читатель, самые кости его исчезли.

Юность, конечно, очень подвержена таким наваждениям. И то сказать: коли та или другая добротная догма не приходит в подмогу свободной мысли, есть нечто ребячливое в повышенной восприимчивости к обратной или передней вечности. В зрелом же возрасте рядовой читатель так привыкает к непонятности ежедневной жизни, что относится с равнодушием к обеим черным пустотам, между которыми ему улыбается мираж, принимаемый им за ландшафт. Так давайте же ограничим воображение. Его дивными и мучительными дарами могут наслаждаться только бессонные дети или какая-нибудь гениальная развалина. Дабы восторг жизни был человечески выносим, давайте (говорит читатель) навяжем ему меру.

Против всего этого я решительно восстаю. Я готов, перед своей же земной природой, ходить, с грубой надписью под дождем, как обиженный приказчик. Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни! Я готов был стать единоверцем последнего шамана, только бы не отказаться от внутреннего убеждения, что себя я не вижу в вечности лишь из-за земного времени, глухой стеной окружающего жизнь. Я забирался мыслью в серую от звезд даль – но ладонь скользила все по той же совершенно непроницаемой глади. Кажется, кроме самоубийства, я перепробовал все выходы. Я отказывался от своего лица, чтобы проникнуть заурядным привидением в мир, существовавший до меня. Я мирился с унижительным соседством романисток, лепечущих о разных йогах и атлантидах. Я терпел даже отчеты о медиумистических переживаниях каких-то английских полковников индийской службы, довольно ясно помнящих свои прежние воплощения под ивами Лхассы. В поисках ключей и разгадок я рылся в своих самых ранних снах – и раз уж я заговорил о снах, прошу заметить, что безоговорочно отметаю фрейдовщину и всю ее темную средневековую подоплеку, с ее маниакальной погоней за половой символикой, с ее угрюмыми эмбриончиками, подглядывающими из природных засад угрюмое родительское соитие.

В начале моих исследований прошлого я не совсем понимал, что безграничное на первый взгляд время есть на самом деле круглая крепость. Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы – моего младенчества. Я вижу пробуждение самосознания как череду вспышек с уменьшающимися промежутками. Вспышки сливаются в цветные просветы, в географические формы. Я научился счету и слову почти одновременно, и открытие, что я – я, а мои родители – они, было непосредственно связано с понятием об отношении их возраста к моему. Вот включаю этот ток – и, судя по густоте солнечного света, тотчас заливающего мою память, по лапчатому его очерку, явно зависящему от переслоений и колебаний лопастных дубовых листьев, промеж которых он падает на песок, полагаю, что мое открытие себя произошло в деревне, летом, когда, задав кое-какие вопросы, я сопоставил в уме точные ответы, полученные на них от отца и матери, – между которыми я вдруг появляюсь на пестрой парковой тропе. Все это соответствует теории онтогенического повторения пройденного. Филогенически же, в первом человеке осознание себя не могло не совпасть с зарождением чувства времени.

Итак, лишь только добытая формула моего возраста, свежезеленая тройка на золотом фоне, встретила в солнечном течении тропы с родительскими цифрами, тенистыми тридцать три и двадцать семь, я испытал живительную встряску. При этом втором крещении, более действительном, чем первое (совершенное при воплях полуутопленного полувиктора, – звонко, из-за двери, мать успела поправить нерасторопного протоиерея Константина Ветвеницкого), я почувствовал себя погруженным в сияющую и подвижную среду, а именно в чистую стихию времени, которое я делил – как делишь, плещась, яркую морскую воду – с другими купающимися в ней существами. Тогда-то я вдруг понял, что двадцатисемилетнее, в чем-то бело-розовом и мягком, создание, владеющее моей левой рукой, – моя мать, а создание тридцатитрехлетнее, в бело-золотом и твердом, держащее меня за правую руку, – отец. Они шли, и между ними шел я, то упруго семеня, то переступая с подковки на подковку солнца, и опять семеня, посреди дорожки, в которой теперь из смехотворной дали узнаю одну из аллей – длинную, прямую, обсаженную дубками, – прорезавших «новую» часть огромного парка в нашем петербургском имении. Это было в день рождения отца, двадцать первого, по нашему календарю, июля 1902 года; и глядя туда со страшно далекой, почти необитаемой гряды времени, я вижу себя в тот день восторженно празднующим зарождение чувственной жизни. До этого оба моих водителя, и левый и правый, если и существовали в тумане моего младенчества, появлялись там лишь инкогнито, нежными анонимами; но теперь, при созвучии трех цифр, крепкая, облая, сдобно-блестящая кавалергардская кираса, обхватывавшая грудь и спину отца, взошла как солнце, и слева, как дневная

луна, повис парасоль матери; и потом в течение многих лет я продолжал живо интересоваться возрастом родителей, справляясь о нем, как беспокойный пассажир, проверяя новые часы, справляется у спутников о времени.

Замечу мимоходом, что, отбыв воинскую повинность задолго до моего рождения, отец в тот знаменательный день, вероятно, надел свои полковые регалии ради праздничной шутки. Шутке, значит, я обязан первым проблеском полноценного сознания – что тоже имеет рекапитулярный смысл, ибо первые существа, почуявшие течение времени, несомненно были и первыми умевшими улыбаться.

2

Первобытная пещера, а не модное лоно, – вот (венским мистикам наперекор) образ моих игр, когда было три-четыре года. Передо мной встает большой диван, с клеверным крапом по белому кретону, в одной из гостиных нашего деревенского дома: это массив, нагроможденный в эру доисторическую. История начинается неподалеку от него, с флоры прекрасного архипелага, там, где крупная гортензия в объемистом вазоне со следами земли наполовину скрывает за облаками своих бледно-голубых и бледно-зеленых соцветий пьедестал мраморной Дианы, на которой сидит муха.

Прямо над диваном висит батальная гравюра в раме из черного дерева, намечая еще один исторический этап. Стоя на пружинистом кретоне, я извлекал из ее смеси эпизодического и аллегорического разные фигуры, смысл которых раскрывался с годами; раненого барабанщика, трофеи, павшую лошадь, усачей со штыками и неуязвимого среди этой застывшей возни, бритого императора в походном сюртуке на фоне пышного штаба.

С помощью взрослого домочадца (которому приходилось действовать сначала обеими руками, а потом мощным коленом) диван несколько отодвигался от стены (здравствуйте, дырочки штепселя). Из диванных валиков строилась крыша; тяжелые подушки служили заслонами с обоих концов. Ползти на четвереньках по этому беспросветно-черному туннелю было сказочным наслаждением. Делалось душно и страшно, в коленку впивался кусочек ореховой скорлупы, но я все же медлил в этой давящей мгле, слушая тупой звон в ушах, рассудительный звон одиночества, столь знакомый малышам,

вовлеченным игрой в пыльные, грустно-укромные углы. Темнота становилась слепотой, слепота искрилась по-своему; и весь вспыхнув как-то снутри, в трепете сладкого ужаса, стуча коленками и ладошками, я торопился к выходу и сбивал подушку. Мечтательнее и тоньше была другая пещерная игра, – когда, проснувшись раньше обыкновенного, я сооружал шатер из простыни и одеяла и давал волю воображению среди бледного света, полотняных и фланелевых лавин, в складках которых мне мерещились томительные допотопные дали, силуэты сонных зверей. Заодно воскресает образ моей детской кровати, с подъемными сетками из пушистого шнура по бокам, чтобы автор не выпал; и, в свою очередь, этот образ направляет память к другому утреннему приключению. Как бывало я упивался восхитительно крепким, гранатово-красным, хрустальным яйцом, уцелевшим от какой-то незапамятной Пасхи! Пожевав уголок простыни так, чтобы он хорошенько намок, я туго заворачивал в него граненое сокровище и, все еще подлизывая спеленатые его плоскости, глядел, как горящий румянец постепенно просачивается сквозь влажную ткань со все возрастающей насыщенностью рдения. Непосредственнее этого мне редко удавалось питаться красотой.

Допускаю, что я не в меру привязан к самым ранним своим впечатлениям; но как же не быть мне благодарным им? Они проложили путь в сущий рай осязательных и зрительных откровений. И все я стою на коленях – классическая поза детства! – на полу, на постели, над игрушкой, ни над чем. Как-то раз, во время заграничной поездки, посреди отвлеченной ночи, именно так я стоял на подушке у окна спального отделения: это было, должно быть, в 1903 году, между прежним Парижем и прежней Ривьерой, в давно не существующем тяжелозвонном *train de luxe* [4 - Экспресс (фр.)], вагоны которого были окрашены понизу в кофейный цвет, а поверху – в сливочный. Должно быть, мне удалось отстегнуть и подтолкнуть вверх тугую тисненую шторку в головах моей койки. С неизъяснимым замираньем я смотрел сквозь стекло на горсть далеких алмазных огней, которые переливались в черной мгле отдаленных холмов, а затем как бы соскользнули в бархатный карман. Впоследствии я раздавал такие драгоценности героям моих книг, чтобы как-нибудь отделаться от бремени этого богатства. Загадочно-болезненное блаженство не изошло за полвека, если и ныне возвращаюсь к этим первичным чувствам. Они принадлежат гармонии моего совершеннейшего, счастливейшего детства, – и в силу этой гармонии они с волшебной легкостью, сами по себе, без поэтического участия, откладываются в памяти сразу перебеленными черновиками. Привередничать и корячиться Мнемозина начинает только тогда, когда приходишь до глав юности. И вот еще соображение: сдается мне, что в смысле этого раннего набирания мира русские дети моего поколения и круга одарены были восприимчивостью поистине

гениальной, точно судьба в предвидении катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную декорацию, честно пыталась возместить будущую потерю, наделяя их души и тем, что по годам им еще не причиталось. Когда же все запасы и заготовки были сделаны, гениальность исчезла, как бывает оно с вундеркиндами в узком значении слова – с каким-нибудь кудрявым, смазливый мальчиком, управлявшим оркестром или укрощавшим гремучий, громадный рояль, у пальмы, на освещенной как Африка сцене, но впоследствии становящимся совершенно второстепенным, лысоватым музыкантом, с грустными глазами, и какой-нибудь редкой внутренней опухолью, и чем-то тяжелым и смутно-уродливым в очерке евушских бедер. Пусть так, но индивидуальная тайна пребывает и не перестает дразнить мемуариста. Ни в среде, ни в наследственности не могу нащупать тайный прибор, оттиснувший в начале моей жизни тот неповторимый водяной знак, который сам различаю только подняв ее на свет искусства.

3

Чтобы правильно расставить во времени некоторые мои ранние воспоминания, мне приходится равняться по кометам и затмениям, как делает историк, датирующий обрывки саг. Но в иных случаях хронология ложится у ног с любовью. Вижу, например, такую картину: карабкаюсь лягушкой по мокрым, черным приморским скалам; мисс Норкот, томная и печальная гувернантка, думая, что я следую за ней, удаляется с моим братом вдоль взморья; карабаясь, я твержу, как некое истое, красноречивое, утоляющее душу заклинание, простое английское слово «чайльдхуд» (детство); знакомый звук постепенно становится новым, странным, и вконец завораживается, когда другие «худ»'ы к нему присоединяются в моем маленьком, переполненном и кипящем мозгу – «Робин Худ» и «Литль Ред Райдинг Худ» (Красная Шапочка) и бурый куколь («худ») горбуньи-феи. В скале есть впадинки, в них стоит теплая морская водица, и бормоча, я как бы колдую над этими васильковыми купелями.

Место это, конечно, Аббатия, на Адриатике. Накануне в кафе у фиумской пристани, когда уже нам подавали заказанное, мой отец заметил за ближним столиком двух японских офицеров – и мы тотчас ушли; однако я успел схватить целую бомбочку лимонного мороженого, которую так и унес в набухающем небной болью рту. Время, значит, 1904 год, мне пять лет. Лондонский журнал, который выписывает мисс Норкот, со вкусом воспроизводит рисунки японских

корреспондентов, изображающих, как будут тонуть совсем на вид детские – из-за стиля японской живописи – паровозы русских, если они вздумают провести рельсы по байкальскому льду.

У меня, впрочем, есть в памяти и более ранняя связь с этой войной. Как-то в начале того же года, в нашем петербургском особняке, меня повели из детской вниз, в отцовский кабинет, показаться генералу Куропаткину, с которым отец был в коротких отношениях. Желая позабавить меня, коренастый гость высыпал рядом с собой на оттоманку десяток спичек и сложил их в горизонтальную черту, приговаривая: «Вот это – море – в тихую – погоду». Затем он быстро сдвинул углом каждую чету спичек, так чтобы горизонт превратился в ломаную линию, и сказал: «А вот это – море в бурю». Тут он смешал спички и собрался было показать другой – может быть, лучший – фокус, но нам помешали. Слуга ввел его адъютанта, который что-то ему доложил. Суетливо крикнув, Куропаткин, в полтора, как говорится, приема, встал с оттоманки, причем разбросанные на ней спички подскочили ему вслед. В этот день он был назначен Верховным Главнокомандующим Дальневосточной Армии.

Через пятнадцать лет маленький магический случай со спичками имел свой особый эпилог. Во время бегства отца из захваченного большевиками Петербурга на юг, где-то, снежной ночью, при переходе какого-то моста, его остановил седобородый мужик в овчинном тулупе. Старик попросил огонька, которого у отца не оказалось. Вдруг они узнали друг друга. Дело не в том, удалось ли или нет опростившемуся Куропаткину избежать советского конца (энциклопедия молчит, будто набрав крови в рот). Что любопытно тут для меня, это логическое развитие темы спичек. Те давнишние, волшебные, которые он мне показывал, давно затерялись; пропала и его армия; провалилось все; провалилось, как проваливались сквозь слюду ледка мои заводные паровозы, когда, помнится, я пробовал пускать их через замерзшие лужи в саду висбаденского отеля, зимой 1904–1905 года. Обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие таких тематических узоров и есть, думается мне, главная задача мемуариста.

Ездили мы на разные воды, морские и минеральные, каждую осень, но никогда не оставались так долго – целый год – за границей, как тогда, и мне, шестилетнему, довелось впервые по-настоящему испытать древесным дымом отдающий восторг возвращения на родину – опять же, милость судьбы, одна из ряда прекрасных репетиций, заменивших представление, которое, по мне, может уже не состояться, хотя этого как будто и требует музыкальное разрешение жизни.

Итак, переходим к лету 1905 года: мать с тремя детьми в петербургском имении; политические дела задерживают отца в столице. В один из коротких своих наездов к нам, в Выру, он заметил, что мы с братом читаем и пишем по-английски отлично, но русской азбуки не знаем (помнится, кроме таких слов, как «какао», я ничего по-русски не мог прочесть). Было решено, что сельский учитель будет приходить нам давать ежедневные уроки и водить нас гулять.

Каким веселым звуком, под стать солнечной и соленой ноте свистка, украшавшего мою белую матроску, зовет меня мое дивное детство на возобновленную встречу с бодрым Василием Мартыновичем! У него было толстовского типа широконосое лицо, пушистая плешь, русые усы и светло-голубые, цвета моей молочной чашки, глаза с небольшим интересным наростом на одном веке. Рукопожатие его было крепкое и влажное. Он носил черный галстук, повязанный либеральным бантом, и люстриновый пиджак. Ко мне, ребенку, он обращался на «вы», как взрослый к взрослому, то есть совершенно по-новому, – не с противной чем-то интонацией наших слуг и, конечно, не с особой пронзительной нежностью, звеневшей в голосе матери (когда мне случалось хватиться самого крохотного пассажира, или оказывался у меня жар, и она переходила на «вы», словно хрупкое «ты» не могло бы выдержать груз ее обожания). Он был, как говорили мои тетки, шипением своего ужаса, как кипятком, ошпаривая человека, «красный»; мой отец его вытащил из какой-то политической истории (а потом, при Ленине, его, по слухам, расстреляли за эсэрство). Брал он меня чудесами чистописания, когда, выводя «покой» или «люди», он придавал какую-то органическую густоту тому или другому сгибу, точно это были готовые ожить ганглии, чернилоносные сосуды. Во время полевых прогулок, завидя косарей, он сочным баритоном кричал им: «Бог помощь!» В дебрях наших лесов, горячо жестикулируя, он говорил о человеколюбии, о свободе, об ужасах войны и о тяжелой необходимости взрывать тиранов динамитом. Когда же он потчевал меня цитатами из «Долой оружие!» благонамеренной, но бездарной Берты Зуттнер, я горячо восставал в защиту кровопролития, спасая свой детский мир пружинных пистолетов и Артуровых рыцарей.

С помощью Василия Мартыновича Мнемозина может следовать и дальше по личной обочине общей истории. Спустя года полтора после Выборгского Воззвания (1906) отец провел три месяца в Крестах, в удобной камере, со своими книгами, мюллеровской гимнастикой и складной резиновой ванной, изучая итальянский язык и поддерживая с моей матерью незаконную корреспонденцию (на узких свиточках туалетной бумаги), которую переносил преданный друг семьи, А. И. Каминка. Мы были в деревне, когда его выпустили; Василий Мартынович руководил торжественной встречей, украсив проселочную дорогу арками из зелени – и откровенно красными лентами. Мать ехала с отцом со станции Сиверской, а мы, дети, выехали им навстречу; и вспоминая именно этот день, я с праздничной ясностью восстанавливаю родной, как собственное кровообращение, путь из нашей Выры в село Рождествено, по ту сторону Оредежи: красноватую дорогу – сперва шедшую между Старым парком и Новым, затем колоннадой толстых берез, мимо некошенных полей, – а дальше: поворот, спуск к реке, искрящейся промеж парчовой тины, мост, вдруг разговорившийся под копытами, ослепительный блеск жестянки, оставленной удильщиком на перилах, белую усадьбу дяди на муравчатом холму, другой мост, через рукав Оредежи, другой холм, с липами, розовой церковью, мраморным склепом Рукавишниковых; наконец: шоссеиную дорогу через село, окаймленную порусски бобриком светлой травы с песчаными проплешинами да сиреневыми кустами вдоль замшелых изб; флаги перед новым, каменным, зданием сельской школы рядом со старым, деревянным; и, при стремительном нашем проезде, черную, белозубую собачонку, выскочившую откуда-то с невероятной скоростью, но в совершенном молчании, сберегавшую лай до того мгновения, когда она очутится вровень с коляской.

5

В это первое необыкновенное десятилетие века фантастически перемешивалось новое со старым, либеральное с патриархальным, фатальная нищета с фаталистическим богатством. Не раз случалось, что, во время завтрака в многооконной, орехом обшитой столовой вырского дома, буфетчик Алексей наклонялся с удрученным видом к отцу, шепотом сообщая (при гостях шепот становился особенно шепеляв), что пришли мужики и просят его выйти к ним. Быстро переведя салфетку с колен на скатерть и извинившись перед моей матерью, отец покидал стол. Одно из восточных окон выходило на край сада у

парадного подъезда; оттуда доносилось учтливое жужжание, невидимая гурьба приветствовала барина. Из-за жары окна были затворены, и нельзя было разобрать смысл переговоров: крестьяне, верно, просили разрешенья скосить или срубить что-нибудь, и если, как часто бывало, отец немедленно соглашался, гул голосов поднимался снова, и его, по старинному русскому обычаю, дюжие руки раскачивали и подкидывали несколько раз.

В столовой между тем братцу и мне велено было продолжать есть. Мама, готовясь снять двумя пальцами с вилки комочек говядины, заглядывала вниз, под воланы скатерти, там ли ее сердитая и капризная такса. «Un jour ils vont le laisser tomber»[5 - «Когда-нибудь они его уронят» (фр.)], – замечала M-1e Golay, чопорная старая пессимистка, бывшая гувернантка матери, продолжавшая жить у нас в доме, всегда кислая, всегда в ужасных отношениях с детскими англичанками и француженками. Внезапно, глядя с моего места в восточное окно, я становился очевидцем замечательного случая левитации. Там, за стеклом, на секунду являлась, в лежачем положении, торжественно и удобно раскинувшись на воздухе, крупная фигура моего отца; его белый костюм слегка зыблелся, прекрасное невозмутимое лицо было обращено к небу. Дважды, трижды он возносился, под уханье и «ура» незримых качалычиков, и третий взлет был выше второго, и вот в последний раз вижу его покоящимся навзничь, и как бы навек, на кубовом фоне знойного полдня, как те внушительных размеров небожители, которые, в непринужденных позах, в ризах, поражающих обилием и силой складок, царят на церковных сводах в звездах, между тем как внизу одна от другой загораются в смертных руках восковые свечи, образуя рой огней в мреении ладана, и иерей читает о покое и памяти, и лоснящиеся траурные лилии застыт лицо того, кто лежит там, среди плывучих огней, в еще не закрытом гробу.

Глава вторая

1

Я всегда был подвержен чему-то вроде легких, но неизлечимых галлюцинаций. Одни из них слуховые, другие зрительные, а проку от них нет никакого. Вещие

голоса, останавливавшие Сократа и понукавшие Жанну д'Арк, сводятся в моем случае к тем обрывочным пустякам, которые – подняв телефонную трубку – тотчас прихлопываешь, не желая подслушивать чужой вздор. Так, перед отходом ко сну, но в полном еще сознании, я часто слышу, как в смежном отделении мозга непринужденно идет какая-то странная однобокая беседа, никак не относящаяся к действительному течению моей мысли. Присоединяется, иначе говоря, неизвестный абонент, безличный паразит; его трезвый, совершенно посторонний голос произносит слова и фразы, ко мне не обращенные и содержания столь плоского, что не решаюсь привести пример, дабы нечаянно не заострить хоть слабым смыслом тупость этого бубнения. Ему есть и зрительный эквивалент – в некоторых предсонных образах, донимающих меня, особенно после кропотливой работы. Я имею в виду, конечно, не «внутренний снимок» – лицо умершего родителя, с телесной ясностью возникающее в темноте по приложению страстного, героического усилия; не говорю я и о так называемых *muscae volitantes* [б - Перелетающие мухи (лат.)] – тенях микроскопических пылинок в стеклянистой жидкости глаза, которые проплывают прозрачными узелками наискось по зрительному полю, и опять начинают с того же угла, если перемигнешь. Ближе к ним – к этим гипногическим увеселениям, о которых идет неприятная речь, – можно, пожалуй, поставить красочную во мраке рану продленного впечатления, которую наносит, прежде чем пасть, свет только что отсеченной лампы. У меня выростали из рубиновых оптических стигматов и Рубенсы, и Рембрандты, и целые пылающие города. Особого толчка, однако, не нужно для появления этих живописных призраков, медленно и ровно развивающихся перед закрытыми глазами. Их движение и смена происходят вне всякой зависимости от воли наблюдателя и, в сущности, отличаются от сновидений только какой-то клейкой свежестью, свойственной переводным картинкам, да еще тем, конечно, что во всех их фантастических фазах отдаешь себе полный отчет. Они подчас уродливы: привяжется, бывало, средневековый, грубый профиль, распаленный вином карл, нагло растущее ухо или нехорошая ноздря. Но иногда, перед самым забытьём, пухлый пепел падает на краски, и тогда фотизмы мои успокоительно расплываются, кто-то ходит в плаще среди ульев, лиловеют из-за паруса дымчатые острова, валит снег, улетаются тяжелые птицы.

Кроме всего, я наделен в редкой мере так называемой *audition coloree* – цветным слухом. Тут я мог бы невероятными подробностями взбесить самого покладистого читателя, но ограничусь только несколькими словами о русском алфавите: латинский был мною разобран в английском оригинале этой книги.

Не знаю, впрочем, правильно ли тут говорить о «слухе»: цветное ощущение создается, по-моему, осязательным, губным, чуть ли не вкусовым путем. Чтобы основательно определить окраску буквы, я должен букву просмаковать, дать ей набухнуть или излучиться во рту, пока воображаю ее зрительный узор. Чрезвычайно сложный вопрос, как и почему малейшее несовпадение между разноязычными начертаниями единозвучной буквы меняет и цветовое впечатление от нее (или, иначе говоря, каким именно образом сливаются в восприятии буквы ее звук, окраска и форма), может быть как-нибудь причастен понятию «структурных» красок в природе. Любопытно, что большей частью русская, инакописная, но идентичная по звуку, буква отличается тускловатым тоном по сравнению с латинской.

Черно-бурую группу составляют: густое, без галльского глянца, А; довольно ровное (по сравнению с рваным R) Р; крепкое каучуковое Г; Ж, отличающееся от французского J, как горький шоколад от молочного; темно-коричневое, отполированное Я. В белесой группе буквы Л, Н, О, Х, Э представляют, в этом порядке, довольно бледную диету из вермишели, смоленской каши, миндального молока, сухой булки и шведского хлеба. Группу мутных промежуточных оттенков образуют клистирное Ч, пушисто-сизое Ш и такое же, но с прожелтью, Щ.

Переходя к спектру, находим: красную группу с вишнево-кирпичным Б (гуще, чем В), розово-фланелевым М и розовато-телесным (чуть желтее, чем V) В; желтую группу с оранжеватым Ё, охряным Е, палевым Д, светло-палевым И, золотистым У и латуновым Ю; зеленую группу с гуашевым П, пыльно-ольховым Ф и пастельным Т (все это суше, чем их латинские однозвучия); и наконец, синюю, переходящую в фиолетовое, группу с жестяным Ц, влажно-голубым С, черничным К и блестяще-сиреневым З. Такова моя азбучная радуга (ВЁЕПСКЗ).

Исповедь синэстета назовут претенциозной те, кто защищен от таких просачиваний и смешений чувств более плотными перегородками, чем защищен я. Но моей матери все это показалось вполне естественным, когда мое свойство обнаружилось впервые: мне шел шестой или седьмой год, я строил замок из разноцветных азбучных кубиков – и вскользь заметил ей, что покрашены они неправильно. Мы тут же выяснили, что мои буквы не всегда того же цвета, что ее; согласные она видела довольно неясно, но зато музыкальные ноты были для нее как желтые, красные, лиловые стеклышки, между тем как во мне они не возбуждали никаких хроматизмов. Надобно сказать, что у обоих моих родителей был абсолютный слух: но увы, для меня музыка всегда была и будет лишь

произвольным нагромождением варварских звучаний. Могу по бедности понять и принять цыгановатую скрипку или какой-нибудь влажный перебор арфы в «Богеме», да еще всякие испанские спазмы и звон, – но концертное фортепиано с фалдами и решительно все духовые хоботы и анаконды в небольших дозах вызывают во мне скуку, а в больших – оголение всех нервов и даже понос.

Моя нежная и веселая мать во всем потакала моему ненасытному зрению. Сколько ярких акварелей она писала при мне, для меня! Какое это было откровение, когда из легкой смеси красного и синего выросал куст персидской сирени в райском цвете! Какую муку и горе я испытывал, когда мои опыты, мои мокрые, мрачно-фиолетово-зеленые картины, ужасно коробились или свертывались, точно скрываясь от меня в другое, дурное, измерение! Как я любил кольца на материнской руке, ее браслеты! Бывало, в петербургском доме, в отдаленнейшей из ее комнат, она вынимала из тайника в стене целую грудку драгоценностей, чтобы позанять меня перед сном. Я был тогда очень мал, и эти струящиеся диадемы и ожерелья не уступали для меня в загадочном очаровании табельным иллюминациям, когда в ватной тишине зимней ночи гигантские монограммы и венцы, составленные из цветных электрических лампочек – сапфирных, изумрудных, рубиновых, – глухо горели над отороченными снегом карнизами домов.

2

Частые детские болезни особенно сближали меня с матерью. В детстве, до десяти, что ли, лет, я был отягощен исключительными, и даже чудовищными, способностями к математике, которые быстро потускнели в школьные годы и вовсе пропали в пору моей, на редкость бездарной во всех смыслах, юности (от пятнадцати до двадцати пяти лет). Математика играла грозную роль в моих ангилах и скарлатинах, когда, вместе с расширением термометрической ртути, беспощадно пухли огромные шары и многозначные цифры у меня в мозгу. Неосторожный гувернер поторопился объяснить мне – в восемь лет – логарифмы, а в одном из детских моих английских журналов мне попала статья про феноменального индуса, который ровно в две секунды мог извлечь корень семнадцатой степени из такого, скажем, приятного числа, как 3529471145760275132301897342055866171392 (кажется, 212, но это неважно). От этих монстров, откормленных на моем бреде и как бы вытеснявших меня из себя самого, невозможно было отделаться, и в течение безнадежной борьбы я

поднимал голову с подушки, силясь объяснить матери мое состояние. Сквозь мои смещенные логикой жара слова она узнавала все то, что сама помнила из собственной борьбы со смертью в детстве, и каким-то образом помогала моей разрывающейся вселенной вернуться к Ньютону классическому образцу.

Будущему узкому специалисту-словеснику будет небезынтересно проследить, как именно изменился, при передаче литературному герою (в моем романе «Дар»), случай, бывший и с автором в детстве. После долгой болезни я лежал в постели, размаянный, слабый, как вдруг нашло на меня блаженное чувство легкости и покоя. Мать, я знал, поехала купить мне очередной подарок: планомерная ежедневность приношений придавала медленным выздоравливаниям и прелесть и смысл. Что предстояло мне получить на этот раз, я не мог угадать, но сквозь магический кристалл моего настроения я со сверхчувственной ясностью видел ее санки, удалявшиеся по Большой Морской по направлению к Невскому (ныне Проспекту какого-то Октября, куда вливается удивленный Герцен). Я различал все: гнедого рысака, его храп, ритмический щелк его мошны и твердый стук комьев мерзлой земли и снега об передок. Перед моими глазами, как и перед материнскими, ширился огромный, в синем сборчатом ватнике, кучерской зад, с путевыми часами в кожаной оправе на кушаке; они показывали двадцать минут третьего. Мать в вуали, в котиковой шубе, поднимала муфту к лицу грациозно-гравюрным движением нарядной петербургской дамы, летящей в открытых санях; петли медвежьей полости были сзади прикреплены к обоим углам низкой спинки, за которую держался, стоя на запятках, выездной с кокардой.

Не выпуская санок из фокуса ясновидения, я остановился с ними перед магазином Треймана на Невском, где продавались письменные принадлежности, аппетитные игральные карты и безвкусные безделушки из металла и камня. Через несколько минут мать вышла оттуда в сопровождении слуги: он нес за ней покупку, которая показалась мне обыкновенным фаберовским карандашом, так что я даже удивился и ничтожности подарка, и тому, что она не может нести сама такую мелочь. Пока выездной запахивал опять полость, я смотрел на пар, выдыхаемый всеми, включая коня. Видел и знакомую ужимку матери: у нее была привычка вдруг надуть губы, чтобы отлепилась слишком тесная вуалетка, и вот сейчас, написав это, нежное сетчатое ощущение ее холодной щеки под моими губами возвращается ко мне, летит, ликуя, стремглав из снежно-синего, синеокононого (еще не спустили штор) прошлого.

Вот она вошла ко мне в спальню и остановилась с хитрой полуулыбкой. В объятиях у нее большой, удлинённый пакет. Его размер был так сильно сокращен в моем видении оттого, может быть, что я делал подсознательную поправку на отвратительную возможность, что от недавнего бреда могла остаться у вещи некоторая склонность к гигантизму. Но нет: карандаш действительно оказался желто-деревянным гигантом, около двух аршин в длину и соответственно толстый. Это рекламное чудовище висело в окне у Треймана как дирижабль, и мать знала, что я давно мечтаю о нем, как мечтал обо всем, что нельзя было, или не совсем можно было, за деньги купить (приказчику пришлось сначала снестись с неким доктором Либнером, точно дело было и впрямь врачебное). Помню секунду ужасного сомнения: из графита ли острие, или это подделка? Нет, настоящий графит. Мало того, когда несколько лет спустя я просверлил в боку гиганта дырку, то с радостью убедился, что становой графит идет через всю длину: надобно отдать справедливость Фаберу и Либнеру, с их стороны это было сущее «искусство для искусства».

«О, еще бы, – говаривала мать, когда, бывало, я делился с нею тем или другим необычайным чувством или наблюдением, – еще бы, это я хорошо знаю...» И с жутковатой простотой она обсуждала телепатию, и сны, и потрескивающие столики, и странные ощущения «уже раз виденного» (le dej? vu). Среди отдаленных ее предков, сибирских Рукавишниковых (коих не должно смешивать с известными московскими купцами того же имени), были староверы, и звучало что-то твердо-сектантское в ее отталкивании от обрядов православной церкви. Евангелие она любила какой-то вдохновенной любовью, но в опоре догмы никак не нуждалась; страшная незащитность души в вечности и отсутствие там своего угла просто не интересовали ее. Ее проникновенная и невинная вера одинаково принимала и существование вечного, и невозможность осмыслить его в условиях временного. Она верила, что единственно доступное земной душе – это ловить далеко впереди, сквозь туман и грезу жизни, проблеск чего-то настоящего. Так люди, дневное мышление которых особенно неуимчиво, иногда чувствуют и во сне, где-то за щекочущей путаницей и нелепицей видений, – стройную действительность прошедшей и предстоящей яви.

3

Любить всей душой, а в остальном доверяться судьбе – таково было ее простое правило. «Вот запомни», – говорила она с таинственным видом, предлагая моему

вниманию заветную подробность: жаворонка, поднимающегося в мутно-перламутровое небо бессолнечного весеннего дня, вспышки ночных зарниц, снимающих в разных положеньях далекую рощу, краски кленовых листьев на палитре мокрой террасы, клинопись птичьей прогулки на свежем снегу. Как будто предчувствуя, что вещественная часть ее мира должна скоро погибнуть, она необыкновенно бережно относилась ко всем вешкам прошлого, рассыпанным и по ее родовому имени, и по соседнему поместью свекрови, и по земле брата за рекой. Ее родители оба скончались от рака, вскоре после ее свадьбы, а до этого умерло молодыми семеро из девяти их детей, и память обо всей этой обильной далекой жизни, мешаясь с веселыми велосипедами и крокетными дужками ее девичества, украшало мифологическими виньетками Выру, Батово и Рождествено на детальной, но несколько несбыточной карте. Таким образом, я унаследовал восхитительную фатаморгану, все красоты неотторжимых богатств, призрачное имущество – и это оказалось прекрасным закалом от предназначенных потерь. Материнские отметины и зарубки были мне столь же дороги, как и ей, так что теперь в моей памяти представлена и комната, которая в прошлом отведена была ее матери под химическую лабораторию, и отмеченный – тогда молодой, теперь почти шестидесятилетней – липою подъем в деревню Грязно, перед поворотом на Даймищенский большак, – подъем столь крутой, что приходилось велосипедистам спешиваться, – где, поднимаясь рядом с ней, сделал ей предложение мой отец, и старая теннисная площадка, чуть ли не каренинских времен, свидетельница благопристойных перекидок, а к моему детству заросшая плевелами и поганками.

Новая теннисная площадка – в конце той узкой и длинной просади черешчатых дубков, о которых я уже говорил, – была выложена по всем правилам грунтового искусства рабочими, выписанными из Восточной Пруссии. Вижу мать, отдающую мяч в сетку – и топающую ножкой в плоской белой туфле. Майерсовское руководство для игры в лоун-теннис перелистывается ветерком на зеленой скамейке. С добросовестными и глупыми усилиями бабочки-белянки пробивают себе путь в проволочной ограде вокруг корта. Воздушная блуза и узкая пикейная юбка матери (она играет со мной в паре против отца и брата, и я сержусь на ее промахи) принадлежат к той же эпохе, как фланелевые рубашки и штаны мужчин. Поодаль, за цветущим лугом, окружающим площадку, проезжие мужики глядят с почтительным удивлением на резвость господ, точно так же, как глядели на волан или серсо в восемнадцатом веке. У отца сильная прямая подача в классическом стиле английских игроков того времени, и, сверяясь с упомянутой книгой, он все справляется у меня и у брата, сошла ли на нас благодать – отзывается ли драйв у нас от кисти до самого плеча, как полагается.

Мать любила и всякие другие игры, особенно же головоломки и карты. Под ее умело витающими руками из тысячи вырезанных кусочков постепенно складывалась на ломберном столе картина из английской охотничьей жизни, и то, что казалось сначала лошадиной ногой, оказывалось частью ильма, а никуда не входившая пупочка (материнское слово для всякой кругловатой штучки) вдруг приходилась к крапчатому крупу, удивительно ладно восполняя пробел – вернее, просинь, ибо ломберное сукно было голубое. Эти точные восполнения доставляли мне, зрителю, какое-то и отвлеченное, и осязательное удовольствие.

В начале второго десятилетия века у нее появилась страсть к азартным играм, особенно к покеру; последний был занесен в Петербург радением дипломатического корпуса, но, по пути из далекой Америки пройдя через сравнительно близкий Париж, он пришел к нам оснащенный французскими названиями комбинаций, как, например, *brelan* и *couleur*[7 - Брелан и масть покер (фр.)]. Технически говоря, это был так называемый *draw poker* с довольно частыми *jack-pot'*ами и с джокером, заменяющим любую карту. Мать иногда играла до четырех часов утра и впоследствии вспоминала с наивным ужасом, как шофер дожидался ее во всю морозную ночь; на самом деле чай с ромом в сочувственной кухне значительно скрашивал эти вигилии.

Любимейшим ее летним удовольствием было хождение по грибы. В оригинале этой книги мне пришлось подчеркнуть само собою понятное для русского читателя отсутствие гастрономического значения в этом деле. Но, разговаривая с москвичами и другими русскими провинциалами, я заметил, что и они не совсем понимают некоторые тонкости, как, например, то, что сыроежки или там рыжики, и вообще все низменные агарики с пластиночной бухтармой, совершенно игнорировались знатоками, которые брали только классически прочно и округло построенные виды из рода *Boletus*, боровики, подберезовики, подосиновики. В дождливую погоду, особенно в августе, множество этих чудных растений вылезало в парковых дебрях, насыщая их тем сырым, сытным запахом – смесью моховины, прелых листьев и фиалкового перегноя, – от которого вздрагивают и раздуваются ноздри петербуржца. Но в иные дни приходилось подолгу всматриваться и шарить, покуда не сыщется семейка боровичков в тесных чепчиках, или мрамористый «гусар», или болотная форма худосочного белесого березовика.

Под морозящим дождиком мать пускалась одна в долгий поход, запасаясь корзинкой – вечно запачканной лиловым снутри от чьих-то черничных сборов. Часа через три можно было увидеть с садовой площадки ее небольшую фигуру в

плаще с капюшоном, приближавшуюся из тумана аллеи; бисерная морось на зеленовато-бурой шерсти плаща образовывала вокруг нее подобие дымчатого ореола. Вот, выйдя из-под капающей и шуршащей сени парка, она замечает меня, и немедленно лицо ее принимает странное, огорченное выражение, которое, казалось бы, должно означать неудачу, но на самом деле лишь скрывает ревниво сдержанное упоение, грибное счастье. Дойдя до меня, она выпускает вздох преувеличенной усталости, и рука и плечо вдруг обвисают, чуть ли не до земли опуская корзинку, дабы подчеркнуть ее тяжесть, ее сказочную полноту.

Около белой, склизкой от сырости садовой скамейки со спинкой она выкладывает свои грибы concentрическими кругами на круглый железный стол со сточной дырой посредине. Она считает и сортирует их. Старые, с рыхлым исподом, выбрасываются; молодым и крепким уделяется всяческая забота. Через минуту их унесет слуга в неведомое и неинтересное ей место, но сейчас можно стоять и тихо любоваться ими. Выпадая в червонную бездну из ненастных туч, перед самым заходом, солнце, бывало, бросало красочный луч в сад, и лоснились на столе грибы: к иной красной или янтарно-коричневой шляпке пристала травинка; к иной подштрихованной, изогнутой ножке прилип родимый мох; и крохотная гусеница геометриды, идя по краю стола, как бы двумя пальцами детской руки все мерила что-то и изредка вытягивалась вверх, ища никому не известный куст, с которого ее сбили.

4

Все, что относилось к хозяйству, занимало мою мать столь же мало, как если бы она жила в гостинице. Не было хозяйственной жилки и у отца. Правда, он заказывал завтраки и обеды. Этот ритуал совершался за столом, после сладкого. Буфетчик приносил черный альбомчик. С легким вздохом отец раскрывал его и, поразмысливши, своим изящным, плавным почерком вписывал меню на завтра. У него была привычка давать химическому карандашу, или перу-самотеку, быстро-быстро трепетать на воздухе, над самой бумагой, покуда он обдумывал следующую зыбельку слов. На его вопросительные наименования блюд мать отвечала неопределенными кивками или морщилась. Официально в экономках числилась Елена Борисовна, бывшая няня матери, древняя, очень низенького роста старушка, похожая на унылую черепаху, большеногоя, малоголовая, с совершенно потухшим, мутно-карим взглядом и холодной, как забытое в

кладовой яблочко, кожей. Про Бову она мне что-то не рассказывала, но и не пила, как пивала Арина Родионовна (кстати, взятая к Олинке Пушкиной с Суйды, неподалеку от нас). Она была на семьдесят лет старше меня, от нее шел легкий, но нестерпимый запах – смесь кофе и тлена, – и за последние годы в ней появилась патологическая скупость, по мере развития которой был потихоньку от нее введен другой домашний порядок, учрежденный в лакейской. Ее сердце не выдержало бы, узнай она, что власть ее болтается в пространстве, с ее же ключничьего кольца, и мать старалась лаской отогнать подозрение, заплывавшее в слабеющий ум старушки. Та правила безраздельно каким-то своим, далеким, затхлым, маленьким царством – вполне отвлеченным, конечно, иначе бы мы умерли с голоду; вижу, как она терпеливо топает туда по длинным желтым коридорам, под насмешливым взглядом слуг, унося в тайную кладовую сломанный петибер, найденный ею где-то на тарелке. Между тем, при отсутствии всякого надзора над штатом в полсотни с лишком человек, и в усадьбе и в петербургском доме шла веселая воровская свистопляска. По словам проницательных старых родственниц, заправилами был повар, Николай Андреич, да старый садовник, Егор, – оба необыкновенно положительные на вид люди, в очках, с седеющими висками – словом, прекрасно загримированные под преданных слуг. Доносам старых родственниц никто не верил, но увы, они говорили правду. Николай Андреич был закупочным гением и, как выяснилось однажды, довольно известным в петербургских спиритических кругах медиумом; Егор (до сих пор слышу его черноземно-шпинатный бас, когда он на огороде пытался отвести мое прожорливое внимание от ананасной земляники к простой клубнике) торговал под шумок господскими цветами и ягодами так искусно, что нажил новенький дом на Сиверской: мой дядя Рукавишников как-то ездил посмотреть и вернулся с удивленным выражением. При ровном наплыве чудовищных и необъяснимых счетов мой отец испытывал, в качестве юриста и государственного человека, особую досаду от неумения разрешить экономические нелады у себя в доме. Но всякий раз, как обнаруживалось явное злоупотребление, что-нибудь непременно мешало расправе. Когда здравый смысл велел прогнать жулика-камердинера, тут-то и оказывалось, что его сын, черноглазый мальчик моих лет, лежит при смерти – и все заслонялось необходимостью консилиума из лучших докторов столицы. Отвлекаемый то тем, то другим, мой отец оставил в конце концов хозяйство в состоянии неустойчивого равновесия и даже научился смотреть на это с юмористической точки зрения, между тем как мать радовалась, что этим потворством спасен от гибели сумасшедший мир старой ее няньки, уносящей в свою вечность по темнеющим коридорам уже даже не бисквит, а горсть сухих крошек. Мать хорошо понимала боль разбитой иллюзии. Малейшее разочарование принимало у нее размеры роковой беды. Как-то в Сочельник, месяца за три до рождения ее

четвертого ребенка, она оставалась в постели из-за легкого недомогания. По английскому обычаю, гувернантка привязывала к нашим кроваткам в рождественскую ночь, пока мы спали, по чулку, набитому подарками, а будила нас по случаю праздника сама мать и, деля радость не только с детьми, но и с памятью собственного детства, наслаждалась нашими восторгами при шуршащем развертывании всяких волшебных мелочей от Пето. В этот раз, однако, она взяла с нас слово, что в девять утра непочатые чулки мы принесем разбирать в ее спальню. Мне шел седьмой год, брату шестой, и, рано проснувшись, я с ним быстро посоветовался, заключил безумный союз, – и мы оба бросились к чулкам, повешенным на изножье. Руки сквозь натянутый уголками и бугорками шелк нащупали сегменты содержимого, похрустывавшего афишной бумагой. Все это мы вытащили, развязали, развернули, осмотрели при смугло-снежном свете, проникавшем сквозь складки штор, – и, снова запаковав, засунули обратно в чулки, с которыми в должный срок мы и явились к матери. Сидя у нее на освещенной постели, ничем не защищенные от ее довольных глаз, мы попытались дать требуемое публикой представление. Но мы так перемяли шелковистую розовую бумагу, так уродливо перевязали ленточки и так полюбительски изображали удивление и восторг (как сейчас вижу брата, закатывающего глаза и восклицающего с интонацией нашей французенки «Ah, que c'est beau!» [8 - «Ах, какая красота!» (фр.)]), что, понаблюдавши нас с минуту, бедный зритель разразился рыданиями. Прошло десятилетие. В Первую мировую войну (Пуанкаре в крагах, слякоть, здравия желаем, бедняжка-наследник в черкеске, крупные, ужасно одетые его сестры в больших застенчивых шляпах, с тысячей своих частных шуточек) моя мать очень добросовестно, но довольно неумело соорудила собственный лазарет, по примеру других петербургских дам, – и вот помню ее, в ненавистной ей форме сестры, рыдающей теми же детскими слезами над фальшью модного милосердия, над мучительной, каменной, совершенно непроницаемой кротостью искалеченных мужиков. И еще позже – о, гораздо позже, – перебирая в изгнании прошлое, она часто винила себя (по-моему – несправедливо), что менее была чутка к обилию человеческого горя на земле, чем к бремени чувств, спихиваемому человеком на все безвинно-безответное, как, например, старые аллеи, старые лошади, старые псы.

Мои тетки критиковали ее пристрастие к коричневым таксам. В фотографических альбомах, подробно иллюстрирующих ее молодые годы, среди пикников, крокетов, это не вышло, спортсменок в рукавах буфами и канотье, старых слуг с руками по швам, ее в колыбели, каких-то туманных елок, каких-то комнатных перспектив, – редкая группа обходилась без таксы, с расплывшейся от темперамента задней частью гибкого тела и всегда с тем странным, психопатически-звездным взглядом, который у этой породы бывает на семейных

снимках. В раннем детстве я еще застал на садовом угреве Лулу и Бокса Первого, мать и сына, столь дряхлых, что давно забылся кровосмесительный их союз, озадачивший былых детей. Около 1904 года отец привез с Мюнхенской выставки рыжего щенка, из которого выросла, удивительной таксичьей красоты, Трэйни. В 1915 году у нее отнялись задние ноги, и, пока мать не решилась ее усыпить, бедная собака уныло ездил по паркетам, как *cul-de-jatte* [9 - Безногий (фр.)]. Затем кто-то подарил нам внука или правнука чеховских Хины и Брома. Этот окончательный таксик (представляющий одно из немногих звеньев между мною и русскими классиками) последовал за нами в изгнание, и еще в 1930 году в Праге, где моя овдовевшая мать жила на крохотную казенную пенсию, можно было видеть ковыляющего по тусклой зимней улице далеко позади своей задумчивой хозяйки этого старого, все еще сердитого Бокса Второго, – эмигрантскую собаку в длинном проволочном наморднике и заплатанном пальтеце.

Я жил далеко от матери, в Германии или Франции, и не мог часто ее навещать. Не было меня при ней и когда она умерла, в мае 1939 года. Всякий раз, что удавалось посетить Прагу, я испытывал в первую секунду встречи ту боль, ту растерянность, тот провал, когда приходится сделать усилие, чтобы нагнать время, ушедшее за разлуку вперед, и восстановить любимые черты по не стареющему в сердце образцу. Квартира, которую она делила с внуком и Евгенией Константиновной Г., самым близким ее другом, была донельзя убогой. Клеенчатые тетради, в которые она списывала в течение многих лет нравившиеся ей стихи, лежали на кое-как собранной ветхой мебели. Ужасно скоро треплющиеся томики эмигрантских изданий соседствовали со слепком отцовской руки. Около ее кушетки, ночью служившей постелью, ящик, поставленный вверх дном и покрытый зеленой материей, заменял столик, и на нем стояли маленькие мутные фотографии в разваливающихся рамках. Впрочем, она едва ли нуждалась в них, ибо оригинал жизни не был утерян. Как бродячая труппа всюду возит с собой, поскольку не забыты реплики, и дюны под бурей, и замок в тумане, и очарованный остров, – так носила она в себе все, что душа отложила про этот серый день. Совершенно ясно вижу ее, сидящую за чайным столом и тихо созерцающую, с одной картой в руке, какую-то фазу в раскладке пасьянса; другой рукой она облокотилась об стол, и в ней же, прижав сгиб большого пальца к краю подбородка, держит близко ко рту папиросу собственной набивки. На четвертом пальце правой руки – теперь опускающей карту – горит блеск двух золотых колец: обручальное кольцо моего отца, слишком для нее широкое, привязано черной ниточкой к ее собственному кольцу.

Когда мне снятся умершие, они всегда молчаливы, озабочены, смутно подавлены чем-то, хотя в жизни именно улыбка была сутью их дорогих черт. Я встречаюсь с ними без удивления, в местах и обстановке, в которых они никогда не бывали при жизни, – например, в доме у человека, с которым я познакомился только потом. Они сидят в сторонке, хмуро опустив глаза, как если бы смерть была темным пятном, постыдной семейной тайной. И конечно, не там и не тогда, не в этих косматых снах, дается смертному редкий случай заглянуть за свои пределы, а дается этот случай нам наяву, когда мы в полном блеске сознания, в минуты радости, силы и удачи – на матче, на перевале, за рабочим столом... И хоть мало различаешь во мгле, все же блаженно верится, что смотришь туда, куда нужно.

Глава третья

1

Восемнадцати лет покинув Петербург, я (вот пример галлицизма) был слишком молод в России, чтобы проявить какое-либо любопытство к моей родословной; теперь я жалею об этом – из соображений технических: при отчетливости личной памяти неотчетливость семейной отражается на равновесии слов. Уже в эмиграции кое-какими занятными сведениями снабдил меня двоюродный мой дядюшка Владимир Викторович Голубцов, большой любитель таких изысканий. У него получалось, что старый дворянский род Набоковых произошел не от каких-то псковичей, живших как-то там в сторонке, на обочье, и не от кривобокого, набокого, как хотелось бы, а от обрусевшего шестьсот лет тому назад татарского князька по имени Набок. Бабка же моя, мать отца, рожденная баронесса Корф, была из древнего немецкого (вестфальского) рода и находила простую прелесть в том, что в честь предка-крестоносца был будто бы назван остров Корфу. Корфы эти обрусели еще в восемнадцатом веке, и среди них энциклопедии отмечают много видных людей. По отцовской линии мы состоим в разнообразном родстве или свойстве с Аксаковыми, Шишковыми, Пушциными, Данзасами. Думаю, что было уже почти темно, когда по скрипучему снегу внесли раненого в геккернскую карету. Среди моих предков много служилых людей; есть усыпанные бриллиантовыми знаками участники славных войн; есть

сибирский золотопромышленник и миллионер (Василий Рукавишников, дед моей матери Елены Ивановны); есть ученый президент медико-хирургической академии (Николай Козлов, другой ее дед); есть герой Фридляндского, Бородинского, Лейпцигского и многих других сражений, генерал от инфантерии Иван Набоков (брат моего прадеда), он же директор Чесменской богадельни и комендант С.-Петербургской крепости – той, в которой сидел супостат Достоевский (рапорты доброго Ивана Александровича царю напечатаны – кажется, в «Красном Архиве»); есть министр юстиции Дмитрий Николаевич Набоков (мой дед); и есть, наконец, известный общественный деятель Владимир Дмитриевич (мой отец).

Набоковский герб изображает собой нечто вроде шашечницы с двумя медведями, держащими ее с боков: приглашение на шахматную партию, у камина, после облавы в майоратском бору; рукавишниковский же, поновее, представляет стилизованную домну. Любопытно, что уральские прииски, Алапаевские заводы, аллитеративные паи в них – все это давно уже рухнуло, когда, в тридцатых годах сего века, в Берлине, многочисленным потомкам композитора Грауна (главным образом каким-то немецким баронам и итальянским графам, которым чуть не удалось убедить суд, что все Набоковы вымерли) досталось, после всех девальваций, кое-что от замаринованных впрок доходов с его драгоценных табакерок. Этот мой предок, Карл-Генрих Граун (1701–1759), талантливый карьерист, автор известной оратории «Смерть Иисуса», считавшейся современными ему немцами непревзойденной, и помощник Фридриха Великого в писании опер, изображен с другими приближенными (среди них – Вольтер) слушающим королевскую флейту на пресловутой картине Менцеля, которая преследовала меня, эмигранта, из одного берлинского пансиона в другой. В молодости Граун обладал замечательным тенором; однажды, выступая в какой-то опере, написанной брауншвейгским капельмейстером Шурманом, он на премьерке заменил не нравившиеся ему места ариями собственного сочинения. Только тут чувствую какую-то вспышку родства между мной и этим благополучным музыкальным деятелем. Гораздо ближе мне другой мой предок, Николай Илларионович Козлов (1814–1889), патолог, автор таких работ, как «О развитии идеи болезни» или «Сужение яремной дыры у людей умопомешанных и самоубийц», – в каком-то смысле служащих забавным прототипом и литературных и лепидоптерологических моих работ. Его дочь Ольга Николаевна была моей бабушкой; я был младенцем, когда она умерла. Его другая дочь, Прасковья Николаевна, вышла за знаменитого сифилидолога Тарновского и сама много писала по половым вопросам; она умерла в 1913 году, кажется, и ее странные, ясно произнесенные последние слова были: «Теперь понимаю: всё – вода». О ней

и о разных диковинных, а иногда и страшных Рукавишниковых у матери было много воспоминаний... Я люблю сцепление времен: когда она гостила девочкой у своего деда, старика Василья Рукавишникова, в его крымском имении, Айвазовский, очень посредственный, но очень знаменитый маринист того времени, рассказывал в ее присутствии, как он, юношей, видел Пушкина и его высокую жену, и пока он это рассказывал, на серый цилиндр художника белилами испражнилась пролетающая птица; его моря темно сизели по разным углам петербургского (а после – деревенского) дома, и Александр Бенуа, проходя мимо них и мимо мертвечины своего брата-академика Альберта, и мимо «Проталины» Крыжицкого, где не таяло ничего, и мимо громадного прилизанного перовского «Прибоя» в зале, делал шоры из рук и как-то музыкально-смугло мычал «Non, non, non, c'est affreux[10 - Нет, нет, нет, это ужасно (фр.)], какая сушь, задерните чем-нибудь» – и с облегчением переходил в кабинет моей матери, где его, действительно прелестные, дождем набухшая «Бретань» и рыже-зеленый «Версаль» соседствовали с «вкусными», как тогда говорилось, «Турками» Бакста и сомовской акварельной «Радугой» среди мокрых берез.

2

Две баронессы Корф оставили след в судебных летописях Парижа: одна, кузина моего прапращура, женатого на дочке Грауна, была та русская дама, которая, находясь в Париже в 1791 году, одолжила и паспорт свой и дорожную карету (только что сделанный на заказ, великолепный, на высоких красных колесах, обитый снутри белым утрехтским бархатом, с зелеными шторами и всякими удобствами, шестиместный берлин) королевскому семейству для знаменитого бегства в Варенн (Мария-Антуанетта ехала как мадам де Корф, или как ее камеристка, король – не то как гувернер ее двух детей, не то как камердинер). Другая, моя прабабка, полвека спустя, была причастна менее трагическому маскараду, а вычитал я эту историю из довольно пошлого французского журнала «Illustration» за 1859 г., стр. 251. Граф де Морни давал бал-маскарад; на него он пригласил – цитирую источник – «une noble dame que la Russia a pr?tee cet hiver ? la France»[11 - «Благородная дама, которую Россия одолжила на эту зиму Франции» (фр.)], баронессу Корф с двумя дочками. Мужа, Фердинанда Корфа (1805–1869, праправнука Грауна по женской линии), по-видимому, не было близко, но зато тут находился друг дома и жених одной из дочек (Марии Фердинандовны, 1842–1926), а мой будущий дед, Дмитрий Набоков (1827–1904).

Для девиц были заказаны к балу костюмы цветочниц, по 225 франков за каждый, что тогда представляло, по явно подрывательно-марксистскому замечанию репортера, шестьсот сорок три дня «de nourriture, de loyer et d'entretien du p?re Crepin» (стоимости пропитания, жилья и обуви); видимо, рабочему человеку жилось тогда дешево. Однако баронессе костюмы показались слишком открытыми, и она отказалась принять их. Портниха прислала «huissier» – судебного пристава, после чего моя прабабка, женщина страстного нрава (и не столь добродетельная, как можно было бы заключить из ее возмущения низким вырезом), подала на портниху в суд, жалуясь, что наглые мамзели, принесшие наряды, в ответ на ее слова, что такие декольте не подходят благородным девицам, «se sont permis d'exposer des theories egalitaires du plus mauvais go?t» (позволили себе высказать превульгарные демократические теории). К этому она добавляла, что поздно было заказывать другие костюмы, – и рыдающие дочери не пошли на бал; что пристав и его сподручные развалились в креслах, предоставив дамам стулья; а главное, что этот пристав смел грозить арестом господину Набокову, «Conseiller d'Etat, homme sage et plein de mesure» (статскому советнику, человеку рассудительному и уравновешенному) только потому, что тот попробовал пристава выбросить из окна. Не знаю, как это случилось, но портниха дело проиграла, причем ей не только пришлось вернуть деньги за костюмы, но еще отвалить истице тысячу франков за моральный ущерб. Счет же за дивную колымагу, поданный каретником весной 1791 г. (5944 ливров), так и остался неоплаченным.

В 1878 году Дмитрий Николаевич был назначен министром юстиции. Одной из заслуг его считается закон 12 июня 1884 года, который на время прекратил натиск на суд присяжных со стороны реакционеров. Когда в 1885 году он вышел в отставку, Александр Третий ему предложил на выбор либо графский титул, либо денежное вознаграждение; благоразумный Набоков выбрал второе. В том же году «Вестник Европы» выразился о его деятельности так: «Он действовал как капитан корабля во время сильной бури – выбросил за борт часть груза, чтобы спасти остальное», – что в отношении контрапункта изящно перекликается с началом его карьеры, когда будущий законник чуть не выбросил сгоряча представителя закона за окно.

К концу жизни рассудок Дмитрия Николаевича помутился. Он понимал, что тяжело болен, но он верил, что все образуется, коль скоро он останется жить на Ривьере; врачи же полагали, что ему нужен горный или северный климат. Где-то в Италии он бежал из-под надзора доктора и довольно долго блуждал, как некий Лир, понося детей своих на радость случайным прохожим. В 1903 году моя мать, единственный человек, с чьим присмотром он мирился, ходила за ним в Ницце;

брат и я – ему шел четвертый, а мне пятый год – жили там же, с англичанкой мисс Норкот. Помню, как в блеске утра оконницы дребезжали на упругом морском ветру, и какая это была чудовищная, ни с чем не сравнимая боль, когда капля растопленного сургуча упала мне на руку. При помощи свечи, пламя которой было изумительно бледно на солнце, заливавшем каменные плиты, я только что так хорошо занимался превращением плавких колоритных брусков в дивно пахнущие, карминовые, изумрудные, бронзовые кляксы. Мисс Норкот была в саду с братом; на мой истошный рев прибежала, шурша, мама, и где-то поодаль, на той же или смежной террасе, мой дед в двухколесном кресле бил концом трости по звонким плитам. Ей приходилось с ним нелегко. Он бранился похабными словами. Служителя, катавшего его по Promenade des Anglais[12 - Набережная в Ницце.], он все принимал за нелюбимого сослуживца – Лорис-Меликова, умершего пятнадцать лет тому назад в той же Ницце. «Qui est cette femme? Chassez-la!»[13 - «Кто эта женщина? Прогоните ее!» (фр.)] – кричал он моей матери, указывая трясущимся перстом на бельгийскую или голландскую королеву, остановившуюся, чтобы справиться о его здоровье. Смутно вижу себя подбегающим к его креслу, чтоб показать ему красивый камушек – который он медленно осматривает и медленно кладет себе в рот. Ужасно жалею, что мало расспрашивал мать впоследствии об этой странной поре на начальной границе моего сознания и на конечном пределе сознания дедовского.

Все дольше и дольше становились припадки забытья. Во время одного такого затмения всех чувств он был перевезен в Россию. Моя мать закамуфлировала комнату под его спальню в Ницце. Подыскали похожую мебель, наполнили вазы выписанными с юга цветами и тот уголок стены (мне особенно нравится эта подробность), который можно было наискось разглядеть из окна, покрасили в блестяще-белый цвет, так что при каждом временном прояснении рассудка больной видел себя в безопасности, среди блеска и мимоз иллюзорной Ривьеры, художественно представленной моей матерью, и умер он мирно, не слыша голых русских берез, шумящих мартовским прутяным шорохом вокруг дома.

3

Отец вырос в казенных апартаментах против Зимнего дворца. У него было три брата, Дмитрий (женатый первым браком на Фальц-Фейн), Сергей (женатый на Тучковой) и Константин (к женщинам равнодушный, чем поразительно отличался ото всех своих братьев). Из пяти их сестер Наталья была за

Петерсоном, Вера – за Пыхачевым, Нина – за бароном Раушем фон Траубенберг (а затем за адмиралом Коломейцевым), Елизавета – за князем Витгенштейном, Надежда – за Вонлярлярским. К началу второго десятилетия века у меня было, так сказать, данных, т. е. вошедших в сферу моего родового сознания и установившихся там знакомым звездным узором, тринадцать двоюродных братьев (с большинством из которых я был в разное время дружен) и шесть двоюродных сестер (в большинство из которых я был явно или тайно влюблен). С некоторыми из этих семейств, по взаимной ли симпатии или по соседству земель, мы виделись значительно чаще, чем с другими. Пикники, спектакли, бурные игры, наш таинственный вырский парк, прелестное бабушкино Батово, великолепные витгенштейновские имения – Дружноселье за Сиверской и Каменка в Подольской губернии – все это осталось идиллически гравюрным фоном в памяти, находящей теперь схожий рисунок только в совсем старой русской литературе.

4

Со стороны матери у меня был всего один близкий родственник – ее единственный оставшийся в живых брат Василий Иванович Рукавишников; был он дипломат, как и его свояк Константин Дмитриевич Набоков, которого я упомянул выше и теперь хочу подробнее воскресить в мыслях, – до вызова более живого, но в грустном и тайном смысле одностихийного, образа Василья Ивановича.

Константин Дмитриевич был худощавый, чопорный, с тревожными глазами, довольно меланхоличный холостяк, живший на клубной квартире в Лондоне, среди фотографий каких-то молодых английских офицеров, и не очень счастливо воевавший с соперником по посольскому первенству Саблиным. Ответив как-то: «Нет, спасибо, мне тут рядом», а в другом случае изменив планы и возвратив билет, он дважды в жизни избег необыкновенной смерти: первый раз, в Москве, когда его предложил подвезти вел. кн. Сергей Александрович, обреченный через минуту встретиться с Каляевым; другой раз, когда он собрался было плыть в Америку на «Титанике», обреченном встретиться с айсбергом. Умер он в двадцатых годах от сквозняка в продувном лондонском гошпитале, где поправлялся после легкой операции. Он опубликовал довольно любопытные «Злоключения Дипломата» и перевел на английский язык «Бориса Годунова». Однажды, в 1940 году, в Нью-Йорке, где сразу по прибытии в

Америку мне посчастливилось окунуться в сущий рай научных исследований, я спустился по лифту с пятого этажа Американского Музея Естествоведения, где проводил целые дни в энтомологической лаборатории, и вдруг – с мыслью, что, может быть, я переутомил мозг, – увидел свою фамилию, выведенную большими золотыми русскими литерами на фресковой стене в вестибюльном зале. При более внимательном рассмотрении фамилия приложилась к изображению Константина Дмитриевича: молодой, прикрашенный, с эспаньолкой, он участвует, вместе с Витте, Коростовцом и японскими делегатами, в подписании Портсмутского мира под благодушной эгидой Теодора Рузвельта – в память которого и построен музей. Но вот Василий Иванович Рукавишников нигде не изображен, и тут наступает его очередь быть обрисованным хотя бы моими цветными чернилами.

Его александровских времен усадьба, белая, симметричнокрылая, с колоннами и по фасаду и по антифронтону, высилась среди лип и дубов на крутом муравчатом холму за рекой Оредежь, против нашей Выры. В раннем детстве дядя Вася и все, что принадлежало ему, множество фарфоровых пятнистых кошек в зеркальном предзальнике его дома, его перстни и запонки, невероятные фиолетовые гвоздики в его оранжерее, урны в романтическом парке, целая роща черешен, застекленная в защиту от климата петербургской губернии, и самая тень его, которую, применяя секретный, будто бы египетский, фокус, он умел заставлял извиваться на песке без малейшего движения со стороны собственной фигуры, – все это казалось мне причастным не к взрослому миру, а к миру моих заводных поездов, клоунов, книжек с картинками, всяких детских одушевленных вещиц, и такое бывало чувство, как когда в нарядном заграничном городе, под лучистым от уличных огней дождем, вдруг набредешь, ребенком, в коричневых лайковых перчатках, на совершенно сказочный магазин игрушек или бабочек. Наезжал он в Россию только летом, да и то не всякий год, и тогда поднимался фантастических цветов флаг на его доме, и почти каждый день, возвращаясь с прогулки, я мог видеть, как его коляска прокатывает через мост на нашу сторону и летит вдоль ельника парка. За завтраком у нас всегда бывало много народу, потом все это переходило в гостиную или на веранду, а он, задержавшись в опустевшей солнечной столовой, садился на венский стул, стоявший на своем решетчатом отражении, брал меня на колени и со всякими смешными словечками ласкал милого ребенка, и почему-то я бывал рад, когда отец издали звал: «Вася, on vous attend»[14 - Вас ждут (фр.)], – и тут же слуги с наглыми лицами убирали со стола, и, страдая, Елена Борисовна норовила из-под них вытащить, чтобы унести и спрятать, пол-яблока, булочку, одинокую в луже редиску. Как-то, после перерыва в полтора года, я с братом и гувернером поехал встречать его на станцию. Мне, должно быть, шел одиннадцатый год, и вот

вздохнули и стали длинные карие вагоны Норд-Экспресса, который дядя подкупал, чтобы тот останавливался на дачной станции, и страшно быстро из багажного выносилось множество его сундуков, – и вот он сам сошел по приставленным ковровым ступенькам и, мельком взглянув на меня, проговорил: «Que vous ?tes devenu jaune et laid, mon pauvre gar?on!» (как ты пожелтел, как подурнел, бедняга). В день же пятнадцатых моих именин он отвел меня в сторону и довольно хмуро, на своем порывистом, точном, старомодном французском языке, объявил меня своим наследником. Он добавил, что сожжет усадьбу дотла, ежели немцы – это было в 1914 г. – когда-либо дойдут до наших мест. «А теперь, – сказал он, – можешь идти, аудиенция кончена, je n'ai plus rien a vous dire»[15 - Мне больше нечего вам сказать (фр.).].

Вижу, как на картине, его небольшую, тонкую, аккуратную фигуру, смугловатое лицо, серо-зеленые со ржавой искрой глаза, темные пышные усы, темный бобрик; вижу и очень подвижное между крахмальными отворотцами адамова яблоко, и змееобразное, с опалом, кольцо вокруг узла светлого галстука. Опалы носил он и на пальцах, а вокруг черно-волосатой кисти – золотую цепочку. В петлице бледно-сизого, или еще какого-нибудь нежного оттенка, пиджака почти всегда была гвоздика, которую он, бывало, быстро нюхал – движением птицы, вздумавшей вдруг обшарить клювом плечевой пух. Как я уже говорил, он появлялся у нас в деревне только летом (помню не больше двух-трех заграничных с ним встреч), и сквозь этот-то жаркий перелив в дорогом камне минувшего времени мне теперь и представляется он – вот опустился на ступень веранды для еще одного снимка (как любили сниматься тогда, как пытались задержать уходящее!) и сидит с тенью лавров на белой фланели штанов, с руками, сложенными на набалдашнике трости, с солнцем на выпуклом, веснушчатом лбу в ореоле далеко назад сдвинутого канотье.

Осенью он возвращался за границу, в Рим, Париж, Биарриц, Лондон, Нью-Йорк; в свои южные имения – итальянскую виллу, пиренейский замок около Раи; и была знаменитая в летописях моего детства поездка его в Египет, откуда он мне ежедневно посылал глянцевитые открытки с большеногими фараонами, сидящими рядом, и вечерними отражениями силуэтных пальм в розовом Ниле, через который резко и неопрятно шел его странно-некрасивый, весь в углах, дикий, вопящий какой-то, т. е. совсем непохожий на него самого, почерк. И опять в июне, на восхитительном севере, когда весело цвела имени безумного Батюшкова млечная черемуха и солнце припекало после очередного ливня, крупные, иссиня-черные с белой перевязью бабочки (восточный подвид тополевой нимфы) низко плавали кругами над лакомой грязью дороги, с которой их спугивала его мчавшаяся к нам коляска. С обещанием дивного подарка в

голосе, жеманно переступая маленькими своими ножками в белых башмаках на высоких каблуках, он подводил меня к ближайшей липке и, изящно сорвав листок, протягивал его со словами: «Pour mon neveu, la chose la plus belle au monde – une feuille verte»[16 - «Моему племяннику – самая прекрасная вещь в мире – зеленый листок» (фр.)]. Или же из Нью-Йорка он мне привозил собранные в книжки цветные серии – смешные приключения Buster Brown'a, теперь забытого мальчика в красноватом костюме с большим отложным воротником и черным бантом; если очень близко посмотреть, можно было различить совершенно отдельные малиновые точки, из которых составлялся цвет его блузы. Каждое приключение кончалось для маленького Брауна феноменальной поркой, причем его мать, дама с осиной талией и тяжелой рукой, брала что попало – туфлю, щетку для волос, разламывающийся от ударов зонтик, даже дубинку услужливого полисмена, – и какие тучи пыли выколачивала она из жертвы, ничком перекинутой через ее колени! Так как меня в жизни никто никогда не шлепал, эти истязания казались мне диковинной, экзотической, но довольно однообразной пыткой – менее интересной, чем, скажем, закапывание врага с выразительными глазами по самую шею в песок кактусовой пустыни, как было показано на заглавном офорте одного из лондонских изданий Майн-Рида.

5

Василий Иванович вел праздную и беспокойную жизнь. Дипломатические занятия его, главным образом при нашем посольстве в Риме, были довольно туманного свойства. Он говорил, впрочем, что мастер разгадывать шифры на пяти языках. Однажды мы его подвергли испытанию, и, в самом деле, он очень быстро обратил «5.13 24.11 13.16 9.13.5 5.13 24.11» в начальные слова известного монолога Гамлета. В розовом фраке, верхом на взмывающей через преграды громадной гнедой кобыле, он участвовал в лисьих охотах в Италии, в Англии. Закутанный в меха, он однажды попытался проехать на автомобиле из Петербурга в По, но завяз в Польше. В черном плаще (спешил на бал) он летел на фанерно-проволочном аэроплане и едва не погиб, когда аппарат разбился о Бискайские скалы (я все интересовался, как реагировал, очнувшись, несчастный летчик, сдававший машину. «Il sanglotait»[17 - «Он рыдал» (фр.)] – подумавши, ответил дядя). Он писал романы – меланхолически-журчащую музыку и французские стихи, причем хладнокровно игнорировал все правила насчет учета немого «е». Он был игрок и исключительно хорошо блефовал в покере.

Его изъяны и странности раздражали моего полнокровного и прямолинейного отца, который был очень сердит, например, когда узнал, что в каком-то иностранном притоне, где молодого Г., неопытного и небогатого приятеля Василья Ивановича, обыграл шулер, Василий Иванович, знавший толк в фокусах, сел с шулером играть и преспокойно передернул, чтобы выручить приятеля. Страдая нервным заиканьем на губных звуках, он не задумался переименовать своего кучера Петра в Льва – и мой отец обозвал его крепостником. По-русски Василий Иванович выражался с нарочитым трудом, предпочитая для разговора замысловатую смесь французского, английского и итальянского. Всякий его переход на русский служил средством к издевательству, заключающемуся в том, чтобы исковеркать или некстати употребить простонародный оборот, прибаутку, красное словцо. Помню, как за столом, подытоживая всяческие свои горести – замучила сенная лихорадка, улетел один из павлинов, пропала любимая борзая, – он вздыхал и говорил: «Je suis comme une [18 - Я как (фр.)] былинка в поле!» – с таким видом, точно и впрямь могла такая поговорка существовать.

Он уверял, что у него неизлечимая болезнь сердца и что для облегчения припадка ему необходимо бывает лечь навзничь на пол. Никто, даже мнительная моя мать, этого не принимал всерьез, и когда зимой 1916 года, всего сорока пяти лет от роду, он действительно помер от грудной жабы – совсем один, в мрачной лечебнице под Парижем, – с каким щемящим чувством вспомнилось то, что казалось пустым чудачеством, глупой сценой – когда, бывало, входил с послеобеденным кофе на расписанном пионами подносе непредупрежденный буфетчик и мой отец косился с досадой на распростертое посреди ковра тело шурина, а затем, с любопытством, на начавшуюся пляску подноса в руках у все еще спокойного на вид слуги.

От других, более сокровенных терзаний, донимавших его, он искал облегчения – если я правильно понимаю эти странные вещи – в религии: сначала, кажется, в какой-то отрасли русского сектантства, а потом, по-видимому, в католичестве; лет за пять до его смерти моя мать и кузина отца Екатерина Дмитриевна Данзас однажды не могли заснуть в своем отделении от рокота и рева латинских гимнов, заглушавших шум поезда, – и несколько опешили, узнав, что это поет на сон грядущий Василий Иванович в смежном купе. А помощь ему с его натурой была, верно, до крайности нужна. Его красочной неврастении подобало бы совмещаться с гением, но он был лишь светский дилетант. В юные годы он много натерпелся от Ивана Васильевича, его странного, тяжелого, безжалостного к нему отца. На старых снимках это был благообразный господин с цепью мирового судьи, а в жизни – тревожно-размашистый чудак с дикой страстью к охоте, с разными затеями, с собственной гимназией для сыновей, где

преподавали лучшие петербургские профессора, с частным театром, на котором у него играли Варламов и Давыдов, с картинной галереей, на три четверти полной всякого темного вздора. По позднейшим рассказам матери, бешеный его нрав угрожал чуть ли не жизни сына, и ужасные сцены разыгрывались в мрачном его кабинете. Рождественская усадьба – купленная им, собственно, для старшего, рано умершего, сына – была, говорили, построена на развалинах дворца, где Петр Первый, знавший толк в отвратительном тиранстве, заточил Алексея. Теперь это был очаровательный, необыкновенный дом. По истечении почти сорока лет я без труда восстанавливаю и общее ощущение, и подробности его в памяти: шашечницу мраморного пола в прохладной и звучной зале, небесный сверху свет, белые галерейки, саркофаг в одном углу гостиной, орган в другом, яркий запах тепличных цветов повсюду, лиловые занавески в кабинете, рукообразный предметик из слоновой кости для чесания спины – и уже относящуюся к другой главе в этой книге, незабвенную колоннаду заднего фасада, под романтической сенью которой сосредоточились в 1915 году счастливейшие часы моей счастливой юности.

После 1914 года я больше его не видал. Он тогда в последний раз уехал за границу и спустя два года там умер, оставив мне миллионное состояние и петербургское свое имение Рождествено с этой белой усадьбой на зеленом холму, с дремучим парком за ней, с еще более дремучими лесами, синеющими за нивами, и с несколькими стами десятин великолепных торфяных болот, где водились замечательные виды северных бабочек да всякая аксаково-тургенево-толстовская дичь. Не знаю, как в настоящее время, но до Второй мировой войны дом, по донесениям путешественников, все еще стоял на художественно-исторический показ иностранному туристу, проезжающему мимо моего холма по Варшавскому шоссе, где – в шестидесяти верстах от Петербурга – расположено за одним рукавом реки Оредежь село Рождествено, а за другим – наша Выра. Река местами подернута парчой нитчатки и водяных лилий, а дальше, по ее излучинам, как бы вырастают в облачно-голубую воду совершенно черные отражения еловой глуши по верхам крутых красных берегов, откуда вылетают из своих нор стрижи и веет черемухой; и если двигаться вниз, вдоль высокого нашего парка, достигнешь наконец плотины водяной мельницы – и тут, когда смотришь через перила на бурно текущую пену, такое бывает чувство, точно плывешь все назад да назад, стоя на самой корме времени.

В сем месте американской и великобританской версий нынешней книги, в назидание беспечному иностранцу, получившему в свое время через умных пропагандистов и дураков-попутчиков чисто советское представление о нашем русском прошлом (или просто потерявшему деньги в каком-нибудь местном банковском крахе и потому полагающему, что «понимает» меня), я позволил себе небольшое отступление, которое привожу здесь только для полноты; суть его покажется слишком очевидной русскому читателю моего поколения:

«Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина-зубра, ненавидящего коммунистов потому, что они, мол, украли у него деньжата и десятины. Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству».

И еще:

Выговариваю себе право тосковать по экологической нише – в горах Америки моей вздыхать по северной России.

7

Мне было семнадцать лет; вторая любовь и первые паузники занимали все мои досуги, о материальном строе жизни я не помышлял – да и на фоне общего благополучия семьи никакое наследство не могло особенно выделиться; но теперь мне вчуже странно, и даже немного противно, думать, что в течение короткого года, пока я владел этим обреченным наследством, я слишком был поглощен общими местами юности – уже терявшей свою первородную самоцветность, – чтобы испытать какое-либо добавочное удовольствие от вещественного владения домом и дебрями, которыми и так владела душа, или какую-либо досаду, когда большевицкий переворот это вещественное владение уничтожил в одну ночь. Мне это противно – точно я поступил неблагодарно по отношению к дяде Васе, взглянул на него, чудака, с улыбкой снисхождения, с которой на него смотрели даже те, кто его любил. И уже с совершенной обидой вспоминаю, как наш швейцарец гувернер, коренастый и обычно добродушный Нуазье, брызгал ядовитым сарказмом, разбирая однажды французские стихи и

музыку дяди – «Octobre» – лучший его романс. Он сочинил эту, может быть, и банальную, но певуче-ручьистую вещь как-то осенью, в своем замке около По, в Нижних Пиренеях, недалеко, помнится, от имения Ростана, мимо которого мы проезжали по дороге из Биаррица. Имение называлось Перпинья, – он его завещал какому-то итальянцу. Глядя с террасы на виноградники, желтеющие внизу по скатам, на горы, лиловеющие вдаль, терзаемый астмой, сердечными перебоями, ознобом, каким-то прустовским обнажением всех чувств (он лицом несколько походил на Пруста), бедный Рука – как звали его друзья-иностранцы – отдал мучительную дань осенним краскам – «chapelle ardente de feuilles aux tons violents»[19 - «Часовня из огнецветных листьев» (фр.)], как выпелось у него, – и единственный, кто запомнил романс от начала до конца, был мой брат, непривлекательный тогда увалень в очках, которого Василий Иванович едва замечал и который за смертью не может ныне помочь мне восстановить забытые мною слова.

L'air transparent fait monter de la plaine...[20 - Прозрачный воздух доносит с равнины...(фр.)] —

высоким тенором пел Василий Иванович, приехавший к завтраку, а пока что присевший у белого рояля, наполовину отраженного в палевом паркете вырской гостиной, – и ежели я, со своей рампеткой из зеленой кисеи, шел в эту минуту домой через парк (вдоль которого по ломаной линии молодого ельника только что пронесся ассирийский профиль дядиного кучера, – бархатный бюст, малиновые рукава, – и дядино канотье), ужасно жалобные и переливчатые звуки:

Un vol de tourterelles strie le ciel tendre,

les chrysanth?mes se parent pour la Toussaint...[21 - Голубиная стая штрихует нежное небо,Хризантемы наряжаются к празднику Всех Святых... (фр.)] —

доплывали до меня в петлистых тенях дышащей в такт аллеи, и в ее конце открывался мне красный песок садовой площадки с углом зеленой усадьбы, из бокового окна которой, как из раны, лилась эта музыка, это пенье.

Заклинать и оживлять былое я научился Бог весть в какие ранние годы – еще тогда, когда, в сущности, никакого былого и не было. Эта страстная энергия памяти не лишена, мне кажется, патологической подоплеки – уж чересчур ярко воспроизводятся в наполненном солнцем мозгу разноцветные стекла веранды, и гонг, зовущий к завтраку, и то, что всегда тронешь проходя – пружинистое круглое место в голубом сукне карточного столика, которое при нажатии большого пальца с приятной спазмой мгновенно выгоняет тайный ящичек, где лежат красные и зеленые фишки и какой-то ключик, отделенный навеки от всеми забытого, может быть и тогда уже не существовавшего замка. Полагаю, кроме того, что моя способность держать при себе прошлое – черта наследственная. Она была и у Рукавишниковых, и у Набоковых. Было одно место в лесу на одной из старых троп в Батово, и был там мосток через ручей, и было подгнившее бревно с края, и была точка на этом бревне, где пятого по старому календарю августа 1883 года вдруг села, раскрыла шелковисто-багряные с павлиньими глазками крылья и была поймана ловким немцем-гувернером этих предыдущих набоковских мальчиков исключительно редко попадавшаяся в наших краях ванесса. Отец мой как-то даже горячился, когда мы с ним задерживались на этом мостике и он перебирал и разыгрывал всю сцену сначала, как бабочка сидела дыша, как ни он, ни братья не решались ударить рампеткой и как в напряженной тишине немец ощупью выбирал у него из рук сачок, не сводя глаз с благородного насекомого.

На адриатической вилле, которую летом 1904 года мы делили с Петерсонами (я узнаю ее до сих пор по большой белой башне на видовых открытках Аббации), предаваясь мечтам во время сиесты, при спущенных шторах, в детской моей постели я, бывало, поворачивался на живот – и старательно, любовно, безнадежно, с художественным совершенством в подробностях (трудносовместимым с нелепо малым числом сознательных лет), пятилетний изгнанник чертил пальцем на подушке дорогу вдоль высокого парка, лужу с сережками и мертвым жуком, зеленые столбы и навес подъезда, все ступени его и непременно почему-то блестящую между колеями драгоценную конскую подкову вроде той, что посчастливилось мне раз найти, – и при этом у меня разрывалась душа, как и сейчас разрывается. Объясните-ка, вы, нынешние шуты-психологи, эту пронзительную репетицию ностальгии!

А вот еще помню. Мне лет восемь. Василий Иванович поднимает с кушетки в нашей классной книжку из серии «Bibliothèque Rose». Вдруг, блаженно застонав, он находит в ней любимое им в детстве место: «Sophie n'était pas jolie...»[22 - «Соня не была хороша собой...» (фр.)]; и через сорок лет я совершенно так же застонал, когда в чужой детской случайно набрел на ту же книжку о мальчиках

и девочек, которые сто лет тому назад жили во Франции тою стилизованной *vie de chateau*[23 - Усадебная жизнь (фр.)], на которую M-me de Segur, nee Rastopchine[24 - Мадам де Сегюр, рожд. Растопчина (фр.)] добросовестно перекладывала свое детство в России, – почему и налаживалась, несмотря на вульгарную сентиментальность всех этих «Les Malheurs de Sophie», «Les Petites Filles Modèles», «Les Vacances»[25 - «Сонины проказы», «Примерные девочки», «Каникулы» (фр.)], тонкая связь с русским усадебным бытом. Но мое положение сложнее дядино, ибо когда читаю опять, как Софи остригла себе брови или как ее мать в необыкновенном кринолине на приложенной картинке необыкновенно аппетитными манипуляциями вернула кукле зрение, и потом с криком утонула во время кораблекрушения по пути в Америку, а кузен Поль под необитаемой пальмой высосал из ноги капитана яд змеи, – когда я опять читаю всю эту чепуху, я не только переживаю щемящее упоение, которое переживал дядя, но еще ложится на душу мое воспоминание о том, как он это переживал. Вижу нашу деревенскую классную, бирюзовые розы обоев, угол изразцовой печи, отворенное окно: оно отражается вместе с частью наружной водосточной трубы в овальном зеркале над канапе, где сидит дядя Вася, чуть ли не рыдая над растрепанной розовой книжкой. Ощущение предельной беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла затопляет память и образует такую сверкающую действительность, что по сравнению с нею паркерово перо в моей руке и самая рука с глянцем на уже веснушчатой коже кажутся мне довольно аляповатым обманом. Зеркало насыщено июльским днем. Лиственная тень играет по белой с голубыми мельницами печке. Влетевший шмель, как шар на резинке, ударяется во все лепные углы потолка и удачно отскакивает обратно в окно. Все так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет.

Глава четвертая

1

В обиходе таких семей, как наша, была давняя склонность ко всему английскому: это слово, кстати сказать, произносилось у нас с классическим ударением (на первом слогe), а бабушка М. Ф. Набокова говорила уже совсем по

старинке: аглицки. Дегтярное лондонское мыло, черное как смоль в сухом виде, а в мокром – янтарное на свет, было скользким участником ежеутренних обливаний, для которых служили раскладные резиновые ванны – тоже из Англии. Дядька намыливал всего мальчика от ушей до пят при помощи особой оранжево-красной губки, а затем несколько раз обливал теплой водой из большого белого кувшина, вокруг которого обвивалась черная фаянсовая лоза. Этот мой резиновый tub я взял с собой в эмиграцию, и он, уже заплатанный, был мне сущим спасением в моих бесчисленных европейских пансионах; грязнее французской общей ванной нет на свете ничего, кроме немецкой.

За брекфастом яркий паточный сироп, golden syrup, наматывался блестящими кольцами на ложку, а оттуда сползал змеей на деревенским маслом намазанный русский черный хлеб. Зубы мы чистили лондонской пастой, выходявшей из тубочки плоскою лентой. Бесконечная череда удобных, добротных изделий, да всякие ладные вещи для разных игр, да снедь текли к нам из Английского Магазина на Невском. Тут были и кексы, и нюхательные соли, и покерные карты, и какао, и в цветную полоску спортивные фланелевые пиджаки, и чудные скрипучие кожаные футболы, и белые как тальк, с девственным пушком, теннисные мячи в упаковке, достойной редкостных фруктов. Эдемский сад мне представлялся британской колонией.

Я научился читать по-английски раньше, чем по-русски; некоторая неприятная для непетербургского слуха – да и для меня самого, когда слышу себя на пластинке, – брезгливость произношения в разговорном русском языке сохранилась у меня и по сей день (помню, при первой встрече, в 1945, что ли, году, в Америке, биолог Добжанский наивно мне заметил: «А здорово, батенька, вы позабыли родную речь»). Первыми моими английскими друзьями были незамысловатые герои грамматики – коричневой книжки с синяком кляксы во всю обложку: Ben, Dan, Sam и Ned. Много было какой-то смутной возни с установлением их личности и местопребывания. «Who is Ben?», «He is Dan», «Sam is in bed», «Is Ned in bed?»[26 - «Кто такой Бен?», «Это – Дэн», «Сэм в постели», «В постели ли Нэд?» (англ.)] и тому подобное. Из-за того, что вначале составителю мешала необходимость держаться односложных слов, представление об этих лицах получилось у меня и сбивчивое и сухое, но затем воображение пришло на помощь, и я увидел их. Туполицые, плоскоступые, замкнутые оболтусы, болезненно гордящиеся своими немногими орудиями (Ben has an axe), они вялой подводной походкой медленно шагают вдоль самого заднего задника сценической моей памяти; и вот, перед дальнотзорными моими глазами вырастают буквы грамматики, как безумная азбука на таблице у оптика.

Классная разрисована ломаными лучами солнца. Брат смиренно выслушивает отповедь англичанки. В запотевшей стеклянной банке под марлей несколько пестрых, с шипами, гусениц методично пасется на крапивных листьях, изредка выделяя интересные зеленые цилиндрики помета. Клетчатая клеенка на круглом столе пахнет клеем. Чернила пахнут черносливом. Виктория Артуровна пахнет Викторией Артуровной. Кроваво-красный спирт в столбике большого наружного градусника восхищенно показывает 24 Реомюра в тени. В окно видать поденщиц в платках, выпалывающих ползком, то на корточках, то на четвереньках, садовые дорожки: до рытья государственных каналов еще далеко. Иволги в зелени издают свой золотой, торопливый, четырехзвучный крик.

Вот прошел Ned, посредственно играя младшего садовника. На дальнейших страницах слова удлинялись, а к концу грамматики настоящий связный рассказец развивался взрослыми фразами в награду маленькому читателю. Меня сладко волновала мысль, что и я могу когда-нибудь дойти до такого блистательного совершенства. Эти чары не выдохлись, – и когда ныне мне попадается учебник, я первым делом заглядываю в конец – в будущность прилежного ученика.

2

Летние сумерки («сумерки» – какой это томный сиреневый звук!). Время действия: тающая точка среди первого десятилетия нашего века. Место: пятьдесят девятый градус северной широты, считая от экватора, и сотый восточной долготы, считая от кончика моего пера. Июньскому дню требовалась вечность для угасания: небо, высокие цветы, неподвижные воды – все это как-то повисало в бесконечном замирании вечера, которое не разрешалось, а продлевалось еще и еще грустным мычанием коровы на далеком лугу или грустнейшим криком птицы за речным низовьем, с широкого туманного мохового болота, столь недостижимого и таинственного, что еще дети Рукавишниковы прозвали его: Америка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (<http://www.litres.ru/vladimir-nabokov/drugie-berega/?lfrom=201227127>) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

notes

Примечания

1

«Убедительное доказательство» (англ.).

2

«Истинная жизнь Себастьяна Найта» (англ.).

3

«Под знаком незаконнорожденных» (англ.).

4

Экспресс (фр.).

5

«Когда-нибудь они его уронят» (фр.).

6

Перелетающие мухи (лат.).

7

Брелан и масть покер (фр.).

8

«Ах, какая красота!» (фр.)

9

Безногий (фр.).

10

Нет, нет, нет, это ужасно (фр.).

11

«Благородная дама, которую Россия одолжила на эту зиму Франции» (фр.).

12

Набережная в Ницце.

13

«Кто эта женщина? Прогоните ее!» (фр.)

14

Вас ждут (фр.).

15

Мне больше нечего вам сказать (фр.).

16

«Моему племяннику – самая прекрасная вещь в мире – зеленый листок» (фр.).

17

«Он рыдал» (фр.).

18

Я как (фр.).

19

«Часовня из огнецветных листьев» (фр.).

20

Прозрачный воздух доносит с равнины...(фр.)

21

Голубиная стая штрихует нежное небо,

Хризантемы наряжаются к празднику Всех Святых... (фр.)

22

«Соня не была хороша собой...» (фр.)

23

Усадебная жизнь (фр.).

24

Мадам де Сегюр, рожд. Растопчина (фр.).

25

«Сонины проказы», «Примерные девочки», «Каникулы» (фр.).

26

«Кто такой Бен?», «Это – Дэн», «Сэм в постели», «В постели ли Нэд?» (англ.)

Купить: <https://telnovel.me/vladimir-nabokov/drugie-berega-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)